

Судьбы революционного наследия: Октябрьская, Февральская и Французская революции

Александр Гордон

В современной России по отношению к памяти революции, к самому понятию в массовых настроениях заметно подобие священного трепета.

Что в этом больше – здорового инстинкта самосохранения или не критического усвоения тех истин, что регулярно и интенсивно преподносят СМИ?

Интеллигентному и иному обывателю представители современного агитпропа внушают, что в российской истории все благотельно-прогрессивное проистекает исключительно от Власти, которая одна просвещает, модернизирует и в конечном счете спасает народ от самого себя. Если народу доводится выступить на политической арене, то его самочинное действие может стать лишь «бунтом», по хрестоматийному определению «бессмысленным и беспощадным».

Правда, согласно хорошему советскому поэту, коли «бунт кончается удачей, он называется иначе». На такой случай у названной когорты есть свои объяснения: «Бес попутал». И этот бес не имеет подлинного отношения ни к России, ни к русскому народу. Это «темные силы» Достоевского, честолюбцы-властолюбцы, а заодно (новация уже без содействия автора «Бесов») предатели и иностранная агентура.

ГОРДОН Александр Владимирович – доктор исторических наук; заведующий сектором ИНИОН РАН. E-mail: gordon_aleksander@mail.ru

Ключевые слова: Октябрьская революция, Февральская революция, оттепель, перестройка, антикоммунистическая революция 1991 г., культура памяти.

Успешно разобрались с Октябрем 17-го года. Дескать, вообще не революция, а государственный переворот. Осуществили его экстремисты-большевики, их вождь – фанатик, проникнутый мизантропией и русофобией. Вмешательство в судьбы России чуждых ей сил иллюстрирует германское золото. Золотой телец иноземного происхождения и оказывается в конечном счете тайной, но отныне усилиями беззаветных «каббалистов» выявленной пружиной революционных потрясений.

Объединенными усилиями широкого идеологического спектра закрепили событие, которое семь десятилетий определяло жизнь страны и под знаменем которого были одержаны бесспорные победы, прежде всего в страшной войне человеческой истории.

По той же схеме, как со всей определенностью продемонстрировал недавний юбилей, спешат закопать и Февральскую революцию. Не германское, так американское золото, не Ленин, так Троцкий – все те же заклятые враги России.

А что царь оказался изолирован и общество его дружно не поддержало – так «предательство». И никак не трогает воображение новейших истолкователей отечественной истории, что среди «предателей» оказался цвет российского воинства – георгиевские кавалеры, императорская гвардия, а заодно священство, славшееся от имени епископата приветственные адреса Государственной Думе, и, наконец, питерский пролетариат, авангард российской индустриализации.

«С жиру бесились» – такое объяснение с оглядкой на непонятное это-

му медийному племени протестное самосознание в обществе предложил ведущий одного из телеканалов. Вроде как и тысячные очереди были от того, что питерский пролетариат стоял за свежее испеченными французскими булками! О том, что в стране разворачивался транспортный коллапс и продовольственный кризис, что полыхали помещичьи усадьбы, за этими булками да иностранное золото как-то и не видно стало.

Как же случилось, что в вопросах революционного прошлого страны официальная историческая память проделала поворот на 180 градусов?

Если странно, то лишь на первый взгляд, сигналом стала тоже революция – антикоммунистическая революция 1991 г. Ее вожди вдохновлялись простейшей арифметикой революционного действия – огульным отрицанием коммунистической модели:

- национализация – приватизация;
- гиперцентрализация – суверенизация;
- воинствующий атеизм – массовое воцерковление.

Вместе с коммунистической моделью отвергли и все коммунистическое прошлое, начиная с 1917 г., прибегнув для его дискредитации к упомянутым схемам фанатизма – доктринерства – иностранного золота.

И дождались возмездия – теперь уже антикоммунистических вождей обвиняют в доктринерстве и подкупленности.

Распространению подобных обвинений немало способствовало то, что сами вожди 1991 г. постарались

отделаться от своего революционного происхождения, предав по различным поводам (вроде расстрела парламента) анафеме обстоятельства утверждения новой власти.

Все это отнюдь не означает, что осмысление (и переосмысление) революционного прошлого свершилось в 1991 г. как бы с нуля.

Первая серьезная коллизия возникла еще во время Великой Отечественной войны. Доктрина Тысячелетнего Рейха, «империи германской нации» явилась мощнейшим идеологическим вызовом, которому не могла полноценно противостоять революционная традиция, искаженная десятилетиями государственного насилия.

Для настроений творческой интеллигенции летом 1943 г., судя по сообщениям спецорганов, было характерно критическое отношение к советскому строю, точнее, к существовавшему режиму и, в частности, подчеркнем к манипулированию им революционным наследием. Его выразили партийные и беспартийные деятели культуры, верившие, никогда не верившие и утратившие веру в созданную систему:

«Подумайте, 25 лет советская власть, а даже до войны люди ходили в лохмотьях, голодали... Для чего же было делать революцию?» (Ф.В.Гладков).

«Неужели наша власть не видит всеобщего разочарования в революции... Революция не оправдала затраченных на нее сил и жертв. Нужны реформы, преобразования. Иначе нам не подняться» (М.А.Никитин).

Лейтмотивом критических настроений были: демократизация политической системы, прекращение репрессий, восстановление рыноч-

ных отношений (роспуск колхозов – самая распространенная тема)¹. Но правящей номенклатуре демократизация представлялась смертным приговором.

Счастливо избежав гибели, советский режим хотел смотреть вперед с оптимизмом. Такое триумфальное будущее и сулили интеллектуальные модели, в которых прошлое и настоящее страны рассматривалось через призму имперской традиции. Они активно внедрялись в историческое сознание и науку после Сталинградской битвы и стали предметом обсуждения историков на созванном ЦК в 1944 г. совещании².

Оттесняя присущий революционной традиции классовый подход, в неоимперских моделях в качестве доминанты утверждался принцип извечного единства народа и государства. Низы и верхи сближала в истории защита государственных интересов России, представители господствующего класса провозглашались национальными героями как успешные их защитники. «Люди, носящие блестящие эполеты, украшенные дорогими парчами, орденами, а иной раз и короной», – вот кто, по словам самого напористого участника Совещания, выступает теперь “перед нами из тумана прежних столетий как воплощение народного духа”³.

Опрокинутый в монархическое прошлое культ Власти оборачивался прославлением «народных царей» – Петра I и Ивана IV, причем пальма первенства волею вождя утвердилась в конце концов именно за Грозным: в отличие от основателя империи тот «стоял на национальной точке зрения», «иностранцев в свою

страну не пускал», от иностранного влияния «ограждал»¹.

Выстраивание прямой преемственности от Московского царства к советскому государству придавало культу партийного вождя сакральный аспект царской харизмы и одновременно самодержцам жаловались атрибуты культа вождя народов.

У неоимперских моделей была еще одна мишень: интернационалистское обоснование СССР как революционного, не имевшего прототипов исторического явления. Идее равноправного союза противопоставили дуализм народа, создавшего государство, и присоединившихся к последнему «неисторических» народов.

На обсуждении учебников по истории СССР в Наркомпросе (январь 1944 г.) чл.-корр. АН СССР А.И.Яковлев заявил: «Мы очень уважаем народности, вошедшие в наш Союз... Но русскую историю делал русский народ... Совмещать с этим интерес к 100 народностям, которые вошли в наше государство, мне кажется неправильным... Мы, русские, хотим истории русского народа, истории русских учреждений в русских условиях»⁴.

Подменявшие национальную идентичность критерии этносознания накладывались на историю государственного образования Россия - СССР. И хотя этноцентризм в столь чистом виде не был господствовавшим, мнение о необходимости разработки истории России как «русской истории», отвечающей «русским интересам», поддерживающей «честь и достоинство» русского народа, становилось все более убедительным, превращаясь подчас в убойный аргумент даже в научных дискуссиях.

Заметим, что неоимперские идеи встретили серьезный отпор в профессиональной среде. Академики

А.М.Панкратова, М.В.Нечкина, В.П.Волгин, Н.С.Державин стойко придерживались революционно-интернационалистской традиции. Особого внимания заслуживает то, что за построениями неоимперцев увидели новую форму вульгаризации истории, «покровщину с обратным знаком» (В.П.Волгин).

«Одним из порочных моментов в схеме Покровского, – говорил чл.-корр. АН С.В.Бахрушин, – было отрицание громадной исторической роли русского народа». Но из преодоления этого порока не следует «такая сплошная идеализация всего прошлого»⁵.

Отношение идеологического аппарата ЦК (высшее руководство до конца войны не выявляло свою позицию) к выдвиганию неоимперских моделей было двусмысленным: с одной стороны, поддержка, стимулирование и порой прямое навязывание, а с другой – сдерживание. Руководителям агитпропа могла импонировать чисто «русская история», но противопоставление русского патриотизма патриотизму других «100 народностей» нельзя было допустить, во всяком случае до тех пор, пока не закончится война.

Политически с середины 30-х годов дело шло к развенчанию идеологии «тюрьма народов»; но та входила в доктрину самой Октябрьской революции как соединения трех потоков – рабочего, крестьянского и национально-освободительного движений. Неоимперская идеология таила многостороннюю угрозу для основополагающей традиции.

Оттепель начиналась со стремления восстановить ореол Революции (с большой буквы), очистив ее образ от наслоений и искажений пос-

ледующего времени, прежде всего, разумеется, от Большого террора, а заканчивалась постановкой вопросов о «цене революции» и «ошибках» ее вождей.

Поскольку Октябрьская революция продолжала табуироваться, подрывная тематика отрабатывалась на Французской революции – той самой, опыт которой служил в первое десятилетие после Октября легитимацией Советской власти, включая государственный террор, диктатуру, однопартийность. В сталинское время Великая французская революция из прототипа Великой Октябрьской превратилась в ее антипод: утратив эпитет Великой, она была объявлена вождем одной из сонма «буржуазно-ограниченных».

Главной «ограниченностью» Французской революции советскому руководству представлялся ее финал. Нормативно урезанная календарными рамками 1789–1794 гг., она заканчивалась, по этой схеме, термидором. А переворот 9 термидора обозначил падение якобинской диктатуры, с которой так или иначе отождествляла себя Советская власть. Примириться с крахом революционной диктатуры советские коммунисты никак не могли. Поэтому термидор навсегда оказался жупелом для власти и общественного сознания в СССР, потому-то в конечном счете и требовалось подчеркивать «ограниченность» революции во Франции: мнилось, что советскую, социалистическую революцию подобная участь не могла ожидать.

Хотя термидор оставался жупелом, революция 1789 г. вернула при оттепели название Великой (с добавлением «буржуазной»), что отражало

несомненное стремление к реабилитации революционной традиции в общественном сознании. Оттепель внесла новые нюансы и в понимание собственно российской революции. Пожалуй, самым знаменательным было обоснование историками «нового направления» ее общенационального, демократического характера. На концептуальном уровне была наконец полноценно осмыслена роль в революции крестьянских масс. Тем самым, между прочим, закрывалась дорога для сужения сущности Октября, для модного ныне изображения его вершущим переворотом.

Однако режим воспринял тенденцию «демократизации», или «окрестьянивания», революции в штыки. Подрывались догматы о социалистической революции и диктатуре пролетариата, на которых и держалось обоснование монополии коммунистической партии на власть. Судьба «нового направления» хорошо известна. Ортодоксы победили, и то была пиррова победа. Режим вновь продемонстрировал свое пренебрежение собственной историей за пределами канонизированной схемы.

Между тем «новое направление» в лице его лидеров П.В.Волобуева, А.Л.Сидорова, М.Я.Гелфтера вовсе не дерзало сокрушить основы системы. Это были люди, искренне преданные революционной идее, хотели ее возрождения путем очищения и обновления, «возвращения к истокам». Разве не нормальный путь для всякого великого идейного движения, будь оно религиозным или нерелигиозным? Идеологический режим советской системы не выдержал в конечном счете именно испытания обновлением, и его историческое

поражение было предрешено уже в 60-х годах.

Обновление развернулось по-настоящему в конце 80-х годов, когда самой системе оставалось несколько лет существования. Между тем это обновление, конкретно в революционной проблематике, было весьма поучительным. Одним из ближайших поводов пересмотра традиции вновь явилась Французская революция в связи с ее 200-летием. А радикальный тон задавали не столько франковеды, сколько широкая научная и литературная общественность, и самое знаменательное – историки-партийцы, представители идеологического истеблишмента.

Выявилась определенная перекличка с настроениями французского общества периода Третьей республики, когда была восстановлена, прежде всего в государственной символике, преемственность в отношении революции XVIII в. Актуализация революционной традиции мыслилась тогда оплотом в защите Республики. Одновременно в национальном сознании возникал как род иммунитета своеобразный инстинкт социального самосохранения. Он проявил себя, в частности, ощущением губительности междоусобия и насилия, которыми ознаменовала себя революция XVIII в. и последовавшие потрясения XIX в. (вплоть до Парижской коммуны).

Жорес, сохранявший при классическом гуманизме преданность рево-

люционным идеалам, отчетливо выразил возникшую амбивалентность, сформулировав в конце своей много томной «Социалистической истории» вопрос-надежду, что человечество изжило революцию как «варварскую форму прогресса»*.

Спустя 80 лет, в другую эпоху и в другой стране загадка основателя «*L'Humanite*» и классика истории Французской революции задала тон общественно-политической дискуссии, затронувшей не только Французскую или Российскую, но и всю типологию революций как исторического явления.

Диалектика исторического прогресса и форм, в которых он совершается, оказалась в центре обсуждения на юбилейной конференции в Академии общественных наук (АОН) при ЦК КПСС. Диктаторская система якобинцев и террор, традиционно прославлявшиеся в советской историографии, были подвергнуты осуждению. На первый план выступило общедемократическое содержание Французской революции; гуманистические ценности, права человека как непреходящие по своему цивилизационному значению завоевания революции были противопоставлены формам, в которых она совершалась.

Профессор АОН М.И.Ананьева уточнила высказывание Жореса: «Революция есть высшая форма классовой борьбы, но не высшая форма прогресса»⁷.

Загвоздка была между тем в отождествлении того и другого в постула-

* «Какой бы благородной, плодотворной, необходимой ни была революция, она всегда относится к более низкой и наполовину звериной эпохе человечества»⁶.

тах истмата. Поэтому требовалось еще развенчать абсолютизацию классовой борьбы и революционного насилия как формы прогресса. И вот после многолетней апологии «революции-праздника» на форуме высшего партийного научно-учебного заведения зазвучали слова о «революции-трагедии»!

«Революция по природе своей трагична, – говорил руководитель кафедры Ю.Н.Гаврилов. – Большой трагедией для многих французов, живших в конце XVIII в., была Великая французская революция». Из этого трагического опыта буржуазия извлекла уроки: «Французская революция положила начало пониманию частью правящего класса... что своекорыстная политика самоубийственна... что благоразумней и выгодней уступить часть, чтобы не потерять все».

Иначе говоря, стратегия «социального мира» виделась уже отнюдь не утопией, поскольку «организации, ведущие свое происхождение от жиронды», оказались в состоянии разработать действенную экономическую и социальную политику и «создать эффективный механизм» ее проведения в жизнь.

Гаврилов критически отзывался о последователях якобинской традиции в СССР, о тех, кто считал, что «кардинальные общественные преобразования невозможны без агрессивного, ожесточенного вооруженного противостояния и выжигающей душу народа гражданской войны»⁷.

Попадание было точным: именно степень ожесточенности в противостоянии классов провозглашалась в советской идеологии высшим критерием прогресса, а возможность снять

назревшие противоречия преобразованиями сверху по-настоящему не допускалась.

О трагических последствиях подобной ориентации большевиков говорил проректор АОН И.И.Антонович: «Всякая даже легкая попытка оправдания террора неприемлема... Попытки решить что бы то ни было с помощью насилия после и за пределами революционного взрыва порождали только ответное насилие... Я хочу покаяться уже не за себя, а за нашу революцию. В отличие от Великой французской наша революция родилась в слепой вере в созидательную роль революционного насилия. Сплошь и рядом она оказалась глухо враждебной разуму. И этим наша революция все-таки обесславилась себя»⁷.

Самокритичной была и позиция А.В.Адо. Профессор МГУ уточнял, что большевистская вера в насилие, спроецированная советской историографией на Французскую революцию, выразила себя недооценкой преемственности и выпячиванием произошедшего разрыва с прошлым.

«Мы преувеличивали, абсолютизировали реальные возможности самого акта насильственной революции, его способность коренным образом перестроить все общество, во всех его структурах сверху донизу»⁷, – за себя и за своих коллег признавал наиболее авторитетный представитель советской историографии.

Одновременно Адо выразил опасение, как бы ни произошла новая аберрация и принципы идеологической перестройки конца XX в. ни были спроецированы на реалии конца XVIII в.

«Имеем ли мы право судить о людях и событиях прошлого только с

позиций нового мышления? – вновь и вновь задавал вопрос историк своим коллегам. – Кроме чувства настоящего, существует такая вещь, как историзм. Мы обязаны помнить о достигнутом тогда уровне цивилизованности, учитывать, насколько общество было связано выработанными в ту пору общественными и политическими структурами, могло ли, умело ли оно решать назревшие проблемы таким образом, чтобы это соответствовало нашим этическим критериям»⁸.

Существуют два плана, постоянно подчеркивал Адо.

Один – «революция и наша современность», когда выявляется, что «из наследия Французской революции сохраняется немеркнущую ценность» и что следует рассматривать как «присущее лишь той эпохе» и, в частности, «отнести к тем кровавым формам исторического творчества, которыми мы не можем принять сегодня».

Но есть и другой план – «научного исторического анализа острых и сложных проблем Французской революции в контексте ее эпохи, когда задача историка не столько дать нравственную или иную оценку, сколько объяснить и понять»⁷.

О выявившейся тенденции подменить утратившую убедительность теоретическую интерпретацию революций и их роли в истории нравственным судом было сказано немало. Бессмысленно выносить приговор революциям, доказывал Антонович: «Революции, рождаясь в насилии, не знают иной формы своего существования, но никому не обязаны за это своими объяснениями. Им недосуг извиняться, что они

приходят в мир. Сам факт свершения революции есть главная ее легитимизация (курс. – *Авт.*)».

Морализация революционной истории усугублялась ее модернизацией: подсознательно происходило проецирование идейных установок и моральных ценностей одной эпохи на иную. «Наше сознание, – говорил Адо – как и все почти современное европейское сознание, порядком “де-революционизировано”, и нам трудно воспринять и ощутить... мышление революционеров, совершавших великую революцию, и людей – историков, которые непосредственно вышли из этой революции и писали о другой, тоже великой революции – Французской»⁹.

Но ни тогда, ни тем более впоследствии не удалось избежать смещения двух планов – «революция и наша современность» и революция «в контексте ее эпохи».

Современное понимание не только Французской революции, но и, в первую очередь, отечественного наследия по-прежнему отягощено порой сознательной, чаще неосознаваемой морализацией, тем грузом морально-политических оценок, что привнесло быстротекущее время со всеми его драматическими поворотами.

Может ли быть примером зрелости восприятие своего (а заодно и нашего) революционного прошлого во Франции?

Трудно сказать, принесет ли это удовлетворение национальному самлюбию, но это факт, что во Франции современное понимание своего революционного прошлого в не малой мере испытало влияние революционного процесса в России.

Зародившаяся в период Третьей республики и приобретающая законченную форму после 1917 г. «классическая» историография Французской революции в лице своих классиков Матьеа и Лефевра, а в послевоенный период Альбера Собуля подпитывалась той исторической перспективой, которую обозначила революция в России: французская революция виделась прототипом русской, которая расширяла и закрепляла достижения первой в решении социального вопроса и пророчила светлое, без эксплуатации и антагонистических классов будущее человечества.

Первый надрыв этой перспективы случился именно тогда, когда большевики приступили к реальному строительству социалистического общества на путях создания его материально-технической базы и одновременного насаждения единомыслия. «Академическое дело» 1929 г. вызвало протест профессорского сообщества Франции, а возглавил протестующих восторженный поклонник Октябрьской революции Альбер Матьеа.

Процесс охлаждения симпатий к советскому эксперименту остановила победа Советского Союза над Германией. Французские друзья СССР вновь получили повод гордиться своей верностью этой дружбе и вдохновляться верой в социалистическую революцию. Научно-теоретическая перспектива поступательного развития человечества от одной (Французской) революции к другой (Российской) обрела на фоне послевоенных настроений французского общества серьезное подкрепление, став гос-

подствующей в подходе к революционной проблематике.

Перелом произошел в 60-х годах. Среди разнообразных факторов успеха атаки «ревизионистов» на «классическую» историографию Французской революции было угасание авторитета СССР – несмотря на достижения в космосе и провозглашенную де Голлем идею Европы «от Атлантики до Урала».

На революционной проблематике явно сказалось окостенение идейно-теоретического арсенала ФКП (заодно с соцпартией), обнаружившееся одновременно и в прямой связи с торжеством догматизма в КПСС. Французские коммунисты, в том числе среди вузовской профессуры, утратили творческую инициативу, и ее перехватили люди, прошедшие ту же марксистскую школу, но ставшие в итоге антикоммунистами (симптоматична фигура самого лидера «ревизионистов» Франсуа Фюре, прошлое которого было связано с ФКП).

Главным полем боя сделалась классовая интерпретация – опровержение фундаментального постулата «классической» историографии о том, что Французская революция была буржуазной. В обоснование этого постулата идеология имела приоритет над социологией. Родоначальникам «классики» (Тьерри, Гизо, Минье, Тьер) оправдание революции требовалось для противостояния клерикально-монархическим силам Реставрации, и таким оправданием сделалась интерпретация ее приемлемой для класса, восходящего к власти, и, главное, это восхождение обосновывающей.

Для марксистов понятие «буржуазной революции» становилось важ-

нейшим звеном учения о формациях, предвещавшего, что за буржуазной революцией наступит торжество социалистической. «Ревизионисты» противопоставили марксистской философии истории преимущественно доводы из области эмпирической социологии и историко-экономической статистики, а эта методика приобрела исключительную популярность в академическом сообществе Франции в рамках обретшей моду в 60-х клиометрии.

Классовый анализ движущих сил революции опровергался социопрофессиональным анализом революционного руководства. Оказывалось, что большинство последнего представляли не «подлинная», торгово-промышленная буржуазия, а интеллигентские группировки (юристы-журналисты), которые «ревизионисты» относили к разряду внеклассовых (прямо как «прослойка» у Сталина). В то же время оказалось, что именно торгово-промышленная буржуазия старого порядка, наряду с дворянством и священниками, больше всего пострадала от революции. Довершал дело экономстатистический анализ, фиксирующий спад французской экономики после революции и ее нарастающее отставание от главного конкурента – Великобритании.

Утратив статус буржуазной, Французская революция усилиями «ревизионистов» перестала быть и позитивной с точки зрения экономического развития страны. Своими эгалитаристскими тенденциями она оказывалась препятствием для прогресса капитализма, а следовательно, в исторической перспективе не прогрессивной, как утверждала

«классическая» историография, а «реакционной».

Впрочем, и сама концепция прогресса подверглась переоценке. Собственно, идеологема прогресса стала выглядеть в одиозном свете как вечная предпосылка революционного сознания: раз изменение к лучшему возможно, любого изменения недостаточно. А поскольку идеологема прогресса явилась основополагающей для Просвещения, цепочка «ревизионистских» опровержений поставила под вопрос и духовную ценность важнейшего культурного явления XVIII в.

Здесь тоже обнаруживается российский (или антироссийский) след.

Еще в XIX в. утвердилось социалистическое прочтение Просвещения. Преемственности между классиками Просвещения и социалистическими проектами XX в. уделяли большое внимание в СССР и во Франции. И критики Просвещения использовали афишируемую классиками марксизма и их последователями преемственность (вкуче с извращением социалистического проекта в СССР) для разоблачения «тоталитаризма» Просвещения.

Спасая славу важнейшего культурного явления цивилизации Нового времени, «ревизионисты» вынуждены были поступиться его целостностью, разделив на приемлемую и неприемлемую части.

Позитивность политических идей Просвещения была допущена лишь в пределах умеренного реформизма. И они, по оценке французского академика Пьера Шоню, вполне укладывались в эти пределы до той поры, пока Руссо не выступил с пропагандой «об-

публичного договора». Не сдерживая политических эмоций, академик утверждал: «В брешь, пробитую “Общественным договором” хлынул поток утопий, отяготивший эпоху Просвещения реакционной и дегенеративной идеологией». Это был «ядовитый нарост на теоретико-дедуктивной ветви конструктивных политических размышлений просветителей», который и придал «архаичность» и «профетизм» Французской революции¹⁰.

Дереволюционизация современного общественного сознания на Западе вылилась в деидеологизацию и «кризис великих метанарративов».

Изменившееся отношение к Просвещению многолетний руководитель Французского общества по изучению XVIII в. Жан Стар объяснял аллергией на «культ великих принципов» и «великих чувств», вместе с наступлением на Западе эры процветания. В 60-х годах «мы считали, что нам предстоит участвовать в строительстве нового мира... Сегодня так же думают люди во многих странах, где будущее еще неопределенно. Но среди тех, кто... живет в мире и благополучии»¹¹, восторжествовал гедонизм.

К концу 80-х годов антиреволюционная реакция собрала столь значительные силы, что смогла поставить вопрос: «Стоит ли праздновать двухсотлетие Французской революции?»¹²

Повернуть историческую память большинства французского общества вспять не удалось. Юбилей был отпразднован на всех уровнях, начиная от правительственных приемов до многочисленных массовых меро-

приятий при стечении широкой международной публики. В Сорбонне проходил всемирный исторический конгресс, посвященный «Образцу Революции» в мире.

Знаменательно, что активное участие в юбилее приняли «ревизионисты». Под руководством Фюре вышел капитальный энциклопедический словарь, собравший статьи ученых различной идейно-теоретической ориентации и отчетливо продемонстрировавший, что и «ревизионисты» не отказываются от революционного наследия страны¹³.

Отметим также, что юбилею революции предшествовали достаточно значимые мемориальные акты – 1500-летие крещения Хлодвиг и 1000-летие Капетингов, признающих первой династией собственно французских королей. Знаменательное событие произошло в 200-ю годовщину казни Людовика XVI.

21 января 1993 г. на площадь Согласия пришло множество французов, чтобы возложить цветы к тому месту, где когда-то стояла гильотина. В своей массе то не были монархисты. На прямые вопросы они объясняли свою акцию причастностью к событиям национальной истории.

Не следует думать, что во Франции за давностью лет возникло единство общества в отношении исторической традиции. Нет, сохраняется раскол, начало которому было положено революцией. Кроме 1789 г., открылось еще немало «болевых точек», самой чувствительной из которых остается оценка колониального прошлого, и прежде всего войны в Алжире. Различные меньшинства, в том числе жители исторических регионов страны, чья культурная идентичность была подавлена вместе с поли-

тической самостоятельностью, требуют теперь ее, по выражению академика Пьера Нора, «записи в великую книгу национальной истории». А для этого нужно «официальное слово государства»¹⁴.

Все стороны вызывают к государству, которое и становится верховным арбитром в вопросах исторической памяти, организующим торжественные юбилеи (кроме указанных, очень значащим было празднование 400-летия покончившего с религиозными войнами Нантского эдикта под девизом «признания Другого») и издающим так называемые мемориальные законы: о геноциде, работорговле, обустройстве колоний. Притом что профессиональные историки критически относятся к «мемориальной» деятельности государственной власти, сама общественная потребность подталкивает к ее продолжению.

Принципы отношения Пятой республики к национальной истории были заложены еще ее основателем.

В мировоззрении де Голля, отмечал директор лево-католического журнала «Эспри» Жан-Мари Доменак, соединились «самые противоречивые элементы национальной традиции, притом, однако, сублимированные, гармонизированные, переплавленные в синтез, в котором разум и сердце принимают равное участие. В некотором роде он предался работе историка, важнейшее качество которого доброжелательность»¹⁵.

Согласно Франсуа Бедарида, занятия де Голля историей Франции «соединяли преемственностью традицию и Революцию, не исключая ни

один из эпизодов этой истории». То был «экуменизм, который все принимает и все собирает, отдавая должное каждому персонажу и каждому времени»¹⁵.

Преемники де Голля заявляют о необходимости восприятия истории страны со всеми ее противоречиями, во всем многообразии культурного опыта. «Величие страны заключается в том, – говорил президент Жан Ширак, – чтобы принять всю ее историю. С ее славными страницами, но также с ее теневыми сторонами»¹⁶.

Пожалуй, это самый серьезный урок, который можно извлечь из французского опыта. В стране в последние десятилетия ведется целенаправленная государственная политика в отношении исторической памяти. Преодолевая различные искушения и крутые перегибы, эта политика ориентирована на восприятие национальной истории в ее целостности. Закрепленной в государственной символике памяти великой революции ничто не угрожает, что отнюдь не исключает дискуссии историков о характере революции, ее предпосылках и последствиях.

В свою очередь профессиональное сообщество, оставаясь разделенным по принципиальным методологическим вопросам, едино в необходимости культивирования исторической памяти. Создавая фундаментальные труды по ключевым моментам национальной традиции, французские историки не отдают своего приоритета тем, кого называют «медийными интеллектуалами», а СМИ поддерживают в общем этот приоритет.

Выводы, думаю, напрашиваются сами собой.

Революционная традиция – в России или Франции – многогранна и на различных этапах национальной истории выявляется различными своим гра-

ниями¹⁷. На эту объективную закономерность накладывается деятельность политических сил, придающих традиции нужную для себя ориентацию. Именно поэтому в культивировании традиции преобладает та или иная схема. Порой при диаметральной противоположности оценок это одна и та же схема, например отождествление революции с насилием («повивальная бабка истории» – в одних оценках, «разбой и грабеж» – в других), «спасительным» или «опустошительным» террором и «прогрессивной» или «преступной» диктатурой победоносной партии.

Подобные схемы грешат односторонностью.

Когда революцию приравнивают к хаосу или смуте, оставляют без внимания огромную созидательную энергию, что позволила Стране Советов превратиться в индустриальную державу и выстоять в смертельной схватке с фашизмом, ту самую творческую энергию, что вызвала к жизни сами Советы (подобно тому, как во Французской революции народное творчество породило секционную организацию – органы самоуправления городских кварталов).

Редуцирование революционной традиции к стихии разрушения опровергается сопровождавшим постреволюционный период мощным культурным движением. Это, не говоря уже о подъеме массового народного творчества, многоликий художественный авангард, поэзия Маяковского и проза Платонова, музыка Шостаковича...

Ради плодотворного усвоения культуры «русского зарубежья» не следует приносить в жертву славу (поистине всемирную) тех деятелей отечественной культуры, кто «был со своим народом» и, более того, до конца оставался как автор симфоний памяти 1905 и 1917 гг. верен революционной традиции.

Дискредитация революционной традиции по-новому воспроизводит прежний раскол.

Большевики были повинны в отсечении религиозно-монархической традиции России.

Но чем лучше отечественные антикоммунисты разной природы, что творят ныне самосуд над декабристами и шестидесятниками, над Радищевым и Чернышевским, Герценом и Некрасовым?

Трагический опыт показал: «сбрасывать с парохода современности» культурное наследие разрушительно для культуры и для самой современности.

Примечания

¹ Спецсообщение управления контрразведки НКГБ СССР «Об антисоветских проявлениях и отрицательных политических настроениях среди писателей и журналистов // Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б) – НКВД о культурной политике 1917–1953 гг. / сост. А.Артизов, О.Наумов. М., 2002. С. 487–499, 613.

² Стенограмма совещания по вопросам истории СССР в ЦК ВКП(б) в 1944 году / публ. Ю.Н.Амиантова и З.Н.Тихоновой // Вопросы истории. 1996. № 2–9.

³ Стенограмма совещания по вопросам истории СССР в ЦК ВКП(б) в 1944 году / публ. Ю.Н.Амиантова и З.Н.Тихоновой // Вопросы истории. 1996. № 2. С. 61.

- ⁴ О настроениях великодержавного шовинизма среди части историков: Секретарям ЦК ВКП(б) / публ. И.В.Ильиной // Вопросы истории. 1991. № 1. С. 202.
- ⁵ Стенограмма совещания по вопросам истории СССР в ЦК ВКП(б) в 1944 году / публ. Ю.Н.Амиантова и З.Н.Тихоновой // Вопросы истории. № 3. С. 83.
- ⁶ Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. М., 1983. Т. 6. С. 260.
- ⁷ Великая французская революция и современность. Материалы междунар. науч. конф. 23–24 нояб. 1989 г. М., 1990. С. 105, 120–122, 154, 145, 149–150.
- ⁸ Время предвосхищений // Знание – сила. 1989. № 7. С. 30.
- ⁹ Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции. Материалы круглого стола 19–20 сент. 1988 г. М., 1989. С. 235.
- ¹⁰ Шоню П. Цивилизация Просвещения / пер. с фр. Екатеринбург, 2008. С. 204–205.
- ¹¹ История продолжается: Изучение XVIII века на пороге XXI века. СПб., 2001. С. 149–150.
- ¹² Faut-il célébrer le bicentenaire de la Revolution francaise? Entretien avec Francois Furet // Histoire. P., 1983. N 2.
- ¹³ Dictionnaire critique de la Revolution francaise. P., 1988.
- ¹⁴ Nora P. Les avatars de l'identite francaise // Debat. P., 2010. N 159. P. 16.
- ¹⁵ De Gaulle en son siecle. Paris, 1991. T. 1. P. 217, 145.
- ¹⁶ Wiewiorka M. Neuf lecons de sociologie. Paris, 2008. P. 202.
- ¹⁷ Гордон А.В. Великая французская революция в советской историографии. М., 2009.

Подписка на 2012 г.
на журнал “Обозреватель – Observer”
в каталоге «Газеты и журналы»
агентства «РОСПЕЧАТЬ»:

47653 — на полугодие
36789 — на год